

Каролайн Хамфри

Опасные слова: табу, уклонение и молчание в Советской России

Данная статья посвящена опасностям, которые в Советском Союзе могло таить то, что является несомненно наиболее близким и знакомым каждому человеку, его собственная речь. Разговор пойдет не столько о том, о чем говорили или писали (означаемом), сколько о самих словах (означающем). Поэтому задача данной статьи заключается не в том, чтобы дать общий анализ политико-дискурсивных образований, она представляется более скромной — исследовать то, как советский человек действовал в языковом отношении на территории, являвшейся опасной. Поскольку меня интересует, как люди воспринимали ту или иную социальную ситуацию, в которой они говорили или писали, я обращаюсь к конкретным случаям, главным образом к исключительно пронизательным воспоминаниям Аллы Андреевой [Андреева 1998].

Каролайн Хамфри (Caroline
Humphrey)
Кембриджский университет,
Великобритания

Любой язык, даже если я владею всего одним языком, не является «моим собственным» [Derrida 1998: 2]. Это можно понимать следующим образом: когда мы говорим,

наше сообщение должно быть выражено на общепонятном языке, истоком которого является не тот, кто говорит. В расширительном смысле идея Жака Деррида предполагает, что как только нечто высказано или написано, оно начинает жить своей собственной социальной жизнью. Это второй момент, который я хотела бы проанализировать, хотя бы потому, что люди сами знают об этом и сами об этом говорят. Например, по мысли диссидента Анатолия Марченко, передача для публикации опасной рукописи («Мои показания») равносильна отправке корабля в плавание. Судно пойдет неведомыми путями. Где оно окажется через месяц? Не пострадают ли люди по мере его движения?

Интерес к способу высказывания, а также к тем извилистым траекториям, которым следуют высказывания, блуждая среди людей, присущ всем обществам, однако в советском случае есть основания говорить об особом смысле этих явлений. Наиболее очевидным представляется факт политического давления, особенно в сталинскую эпоху, когда сказанное слово, обладавшее идеологически преступным означаемым (например, относившимся к религиозной сфере), было достаточным основанием для подозрения в том, что говорящий занимается антисоветской пропагандой¹. Однако, если задуматься, разве нет ничего удивительного в этой виновности слова? В данной статье я попытаюсь подробнее исследовать этот вопрос.

Определяющими для речевых актов простого советского человека оказывались три тесно связанных фактора. Первым является хорошо известный факт, что социальная жизнь русского языка не была предоставлена самой себе, но регулировалась четкой государственной политикой. Гасан Гусейнов указал на фундаментальные следствия языковой реформы 1918 года. Эти с первого взгляда незначительные изменения орфографии сделали чужим для поколений, выросших при советской власти, сам графический облик классической русской литературы, религиозных текстов и других славянских языков. Но еще более существенным было то, что реформа реализовала *«принципиальную возможность глубокого вмешательства в самую историю языка»* [Гусейнов 1989: 66]. Возникла ситуация, благодаря которой говорящие по-русски должны были считать себя *«освобожденными»* от старых, сложных и неправильных (или

¹ Например, христианка Алла Андреева так пишет о 1930-х годах: «В институте на эти [религиозные] темы вообще не говорили. Все тогда было гораздо проще, чем сейчас. Общество делилось на атеистов, говорящих кто громче, кто тише, и верующих, которые молчали, потому что говорить было нельзя — уже само признание в религиозности или крестное знамение могли рассматриваться как антисоветская агитация и подлежать репрессии» [Андреева 1998: 90].

«лгущих») форм и обратиться к новым формам, простым и истинным [Гусейнов 1989: 66]. Это ощущение прозрачности должно было быть создано внутри самой языковой субстанции. Реформа происходила в историческом контексте, когда символисты и футуристы уже предложили хорошо разработанные, утопические модели демократического, универсального языка будущего. Теории Блока и Белого в значительной степени опирались на иррациональную силу магического слова для того, чтобы синтезировать интуитивное понимание и логику, и были нацелены на преобразование жизни в целом [Gutman 1997: 228–232]. Подобные попытки соединения поэтики с эпистемологией и телеологией истории были подхвачены большевистской революцией, которая возвела марксизм в ранг всеобъемлющей доктрины, на основании которой будет намечено и воплощено чаемое будущее [Gutman 1997: 239]. К новой орфографии немедленно прибавились и другие языковые изменения более общего порядка — введение новой лексики, словесных формул и номинативных практик. По мнению Сергея Ушакина [Oushakine 2000: 993], появлению новой политической культуры сопутствовало выстраивание *«словесно-оформленного сознания»* [Волошинов 1995: 228], определявшегося исторически конкретными границами и формами того, что может быть высказано.

Иногда, считает Ушакин, изменения в дискурсивных пространствах и трансформации *«словесно-оформленного сознания»* могли быть более существенными, так сказать, чем сдвиги собственно политического характера [Oushakine 2000: 993]. В свою очередь Алексей Юрчак [Yurchak 2003] отметил, что в языковом отношении советскую эру можно поделить на три периода. За революционным десятилетием 1920-х годов, когда был установлен порядок, при котором партия обладала обязанностью и правом учреждать языковые нормы, последовала сталинская эпоха, когда сам великий «вождь» превратился в верховного судью. Сталин не только санкционировал словарь, он выносил решения, касающиеся самой природы языка [Gutman 1997: 240; Yurchak 2003: 488]. В дальнейшем, в брежневские времена, официальный язык стал предметом стандартизированного копирования и воспроизводства «гегемонических» условных форм [Yurchak 2003: 490–491]. Тем временем количество людей, частично или стопроцентно идентифицировавших свою жизнь с моделями, предложенными партией, становилось ощутимо меньше, а ирония и отсутствие уважения по отношению к официальному языку — широко распространенными [Halfin 2002: 406; Yurchak 2003]. Подобное ироническое пользование языком больше не было отчетливо опасным в политическом смысле; поэтому примеры, приведенные

в данной статье, в основном берутся из эпохи «высокого сталинизма» (начало 1930-х — середина 1950-х годов). Тем не менее исходя из задач настоящей работы советскую эру можно рассматривать в качестве единой в языковом отношении, поскольку в течение всего этого времени существовал «правильный язык», отсылающий к идеологии, понимаемой в широком смысле, и этот язык был создан посредством политического декретирования.

Правильное предполагает наличие неправильного. К неправильному относилось множество, в которое входили повседневный сленг, жаргоны и ругательства. Они подвергались «затемнению» (*were eclipsed*), отчасти потому, что официальный язык по сути был письменным языком, а также потому, что эти устные формы расценивались как порождения чуждых, прогнивших, «враждебных» или преступных классов, исключенных из собственно советского общества. Как сказал Сталин в 1934 г., «человек, который „стучит по блату“, перестает быть советским человеком»¹. Противопоставление советского несоветскому заставляло лингвистов предпринимать настойчивые попытки, нацеленные на то, чтобы определить границы русского языка, общего для всех его носителей, создав академические словари, исключавшие «грязные» речевые формы. Как отметил Зигмунд Бауман [1992], элиты новых политических режимов «нуждаются» в том, чтобы из хаоса и отсутствия единства выстроить однородную конструкцию, превратить «массы» в «народ». Отсюда и необходимость символического экрана общей идентичности, которую могло породить лишь строгое установление границ того, что правильно и что неправильно². Противоречивый характер такой попытки, предпринятой в СССР (поскольку социалистическая идеология в конце концов превозносила жизнь простого народа), становится заметным благодаря тому факту, что подобные словари не претендовали на то, чтобы отражать «живой» русский язык [Timroth 1986: 52, 92–93].

Второй фактор, к которому я хотела бы привлечь внимание, — это устойчивая чувствительность русской культуры к «магической» силе определенных слов и выражений. Попробую пояснить мысль о социально порожденном **затемнении** (*eclipse*) в языке, т.е. отнесении определенных типов речи к публично незримому, внутреннему пространству или социальному «тайнику» речевой практики. Затемнение регулярно порождалось не только делением на письменное/устное, но и постоянным

¹ Из речи, посвященной Беломоро-Балтийскому каналу (цит. по [Timroth 1986: 27]).

² Я благодарна Сергею Ушакину за это важное уточнение.

мониторингом устных выражений, как будто их произнесение отмечало наличие запретных намерений и их последствий для дальнейших событий. То, что мы можем назвать «каузально продуктивными» выражениями русского языка, например заклинания и заговоры, не было забыто советскими крестьянами и рабочими. Однако эти речевые формы подвергались публичному затемнению: их объявляли вредными «пережитками прошлого», а их использование становилось иногда даже уголовно наказуемым. Между тем затемнение не означает уничтожения ни фольклорных выражений, ни того ощущения, что в произнесении слов может содержаться нечто оккультное или обладающее характером предзнаменования. Так что несмотря на настойчивое утверждение рациональной прозрачной семантики и запрет на заговоры, следы этого затемнения различимы в течение всей советской эпохи в каждодневных практиках. В качестве примера можно вспомнить обычай трижды постучать по дереву или поплевать через левое плечо¹.

Третий фактор значим для объяснения тех типов опасности, источником которой в советское время была речь. Александр Генис [1999b] привлек внимание к тому, что он назвал советской метафизикой. *«В эсхатологических координатах коммунизма, — пишет он, — не было ничего, что не соотносилось бы с „Концом“, то есть с „крайним пределом“, который наделял знаки значениями»* [Genis 1999b: 396]. Этот «предел» располагался не в утопическом будущем, но в вечности: если ход истории является неотвратимым и определяется непобедимыми законами эволюции, то финал известен заранее, а любые факты, как ведущие к реализации идеала, так и уводящие прочь от него, соотнесены с этим финалом. Данная метафизика являлась основой повседневной и вездесущей трансцендентности вещей и явлений. Каждый акт повседневной жизни, каждый вспаханный гектар, забитый гвоздь, каждый прогул или ошибка, допущенная при печатании на машинке, наделялись параллельным, гиперреальным «историческим» смыслом. Акт речи или письма также был окрашен этим вечно присутствующим метафизическим намеком. Решающим в данном случае являлась способность партии-государства создавать субституты, замещающие реальность (например, отчет функционировал как субститут прошлого, а план — как заместитель будущего). Эта способность давала партии-государству возможность наделять материальностью свои фантомы [Genis 1999a: 215] и таким образом превращать бытие в метафору [Genis 1999b: 395—

¹ В фольклорных представлениях ангелы сидят на правом плече человека, а черти — на левом. Слово «Тьфу!» замещает плевок в чертей, цель которого — предотвратить нежелательное событие.

397]. Приведу пример того, о чем, как я думаю, говорит Генис: слово «вахта», обозначающее морской дозор, приобрело «советское» значение задачи, выполненной коллективом с особым энтузиазмом и героизмом. Употребление слова «вахта» в таком контексте позволяло рассматривать конкретное повседневное действие как шаг на пути государства, которое метафорически уподобляется кораблю, прокладывающему свой путь под руководством партии [Земцов 1985: 68–69].

Как мы знаем из бесчисленных источников, повседневная практика построения правильных речевых репрезентаций контролировалась с все большей и большей дотошностью в течение всей сталинской эпохи. Мери Ледер, родившаяся в Америке и большую часть жизни проработавшая в ТАСС, описывала, например, строгую «бдительность» редакторов, их помощников и машинисток, проверявших и перепроверявших копии документов, сделанные друг другом. «Отсутствие бдительности», даже по отношению к ошибкам машинисток, могло наказываться понижением в должности или увольнением. Каждый на своем месте отвечал за другого [Leder 2001: 285].

Для моей темы существенно, что коллективное авторство и анонимность являлись естественными следствиями системы, построенной на саморегуляции. У советской метафизики не могло быть одного единственного автора¹. Поэтому произнести публично нечто новое, впервые, и притом высказать это от своего имени было чревато опасностью. Выбрать из всех слов в языке местоимение «я» было страшнее всего. С 1920-х годов «я» противопоставлялось «мы», столь пугавшему Евгения Замятина (диалог «я» с «мы» был частью особого процесса исторического формирования советской субъектности, о котором я не буду говорить в данной статье; см. полемику Халфина и Хеллбека [Halfin, Hellbeck 2002]). Чем более гегемоническим становился коллективный публичный дискурс, тем более «я» (за исключением строго определенных обстоятельств) становилось диссонирующей нотой, доносившейся из чуждой, неподконтрольной государству области.

Эта ситуация обострялась, когда человек соотносил себя лингвистически с определенным набором названных по имени опасных тем. Это могли быть имена впадших в немилость

¹ Единственным исключением, по всей вероятности, был Сталин. Виктор Шнирельман, недавно рассказывая автору настоящей статьи о своих переживаниях в сталинскую эпоху, уподобил такое «коллективное» письмо (writing) средневековой религиозной практике. Подобно Богу, действующему через людей, представляющих его на земле, письмо (writing) творилось «через меня» таким образом, как будто его исток находился в каком-то ином месте. Шнирельман рассказывает о своих колебаниях и том чувстве чего-то абсолютно нового, когда он впервые осмелился в одной из своих статей написать «я».

руководителей, чуждых идеологий, имена «враждебных» народов, выражения, попахивающие несоветскими взглядами, и т.д. Все дело было в том, что такие опасные слова существовали, но люди избегали пользоваться этими конкретными словесными знаками. Если мы можем назвать это уклонение от употребления «табу», необходимо также указать, что иногда об этих опасных предметах каким-то образом надо было говорить; отсюда по необходимости возникали сопутствующие «табу» явления — уклонение, замещение и намек.

Можно позаимствовать термин Гасана Гусейнова и назвать данную ситуацию *«словесным фетишизмом»*. Как справедливо отмечает Гусейнов, до определенной степени это явление присутствует во всех языках. Однако в ситуации советской жизни, когда было ясно, что язык, принадлежавший всем его носителям, являлся инструментом, которым манипулировали сверху, фетишизм принимал гигантские масштабы. Рассмотрим вкратце соображения Гусейнова, изложенные в его статье «Ложь как состояние сознания» [Гусейнов 1989]; я считаю их отчасти проясняющими ситуацию, а отчасти ошибочными. Он верно связывает советский лингвистический фетишизм с *«традиционными представлениями о вреде языка»*. Помня о пережитых страхах, люди не стремятся говорить вслух о том, что более всего желают и ценят (чтобы не «сглазить»), а также избегают говорить о том, чего более всего боятся (чтобы не «накаркать»). *«Скромные меры предосторожности, принимаемые человеком в частном обиходе, — это только мельчайшее звено исторически сложившегося в языке страховочного устройства как против лжи, так и против намеренного или случайного употребления языка во вред»* [Гусейнов 1989: 65]. Однако основная идея Гусейнова, согласно которой советский социолингвистический эксперимент порождает *«сферу лжи»* именно потому, что нацелен на невозможное, на придание истине стабильного характера, при этом данная сфера официальной лжи состоит из *«опустошенных слов-заклинаний»* [Гусейнов 1989: 67], требует некоторой критики. Гусейнов попадает в свою собственную ловушку, поскольку описывать совокупность официальных формул как ложь значит принимать участие в той игре в бинарность, в которую играет само государство. Всегда проще охарактеризовать высказывание как ложь после того, как событие состоялось. Многие просто верили официальным заявлениям. А другие «должны были» верить в них, поскольку исполняли официальные политические роли¹. На самом деле для совре-

¹ Удивительно пронизательное описание подобной позиции дано в воспоминаниях Раисы Орловой [Орлова 1983], где она пытается вспомнить и проанализировать свое юношеское чувство веры, пережитое ею в 1940-х и 1950-х годах.

менников фактическая истинность (или неистинность) официального языка не являлась со всей необходимостью решающим фактором — разговор шел о гораздо более сложной, диалогической и психологической арене прагматики.

Отметим, что не просто страх допустить ошибку заставлял людей прибегать к официальному дискурсу, на что намекают мысль о формуле как пустой лжи [Гусейнов 1989] или идея маскировки, отстаиваемая Олегом Хархординым [Хархордин 2002]. Лингвистические фетиши, табу и уловки присутствуют в языковой деятельности в целом, включая политически санкционированный дискурс. Они снимают обычно устанавливаемые различия — между официальным/неофициальным, профессиональным/разговорным, образованным/неграмотным или авторским текстом/анонимным фольклором. Я попытаюсь показать, что они оказываются теми каналами, по которым осуществляется взаимовлияние между подобными категориями. Приведу один пример. Даже через значительное время после сталинской эпохи (сужу по собственному опыту) официальный словарь мог пробуждать у обычных людей такую же эмоциональную реакцию, как и их собственные, кажущиеся более «естественными» повседневные выражения. Ситуация разъяснилась, когда в конце 1980-х я показала свою статью, упоминавшую «большевистскую революцию», одному инженеру из Сибири. Этот человек собирался эмигрировать в Израиль и отнюдь не являлся преданным сторонником советского режима. Тем не менее он нахмурился, прочитав первый параграф, поднял глаза и спросил, почему я пишу в таком недружественном тоне. Я не могла понять, что имеется в виду, пока он не объяснил: «Мы не говорим „большевистская революция“, вам следовало назвать ее Октябрьской». Когда он произнес это слово, его голос как-то особенным образом потеплел. Я немедленно почувствовала за этим бессознательное влияние жизни, состоявшей из школьных уроков, пионерских песен и т.п., благодаря чему предмет обсуждения — революция — оказался избыточным, а одно единственное слово-фетиш — достаточным для того, чтобы актуализировать не только идею, но и набор эмоционально нагруженных ценностей.

Мысль, которую я пытаюсь обосновать в данной статье, заключается в том, что режим — дискурсивный и политический — устанавливается посредством своих границ, и эти границы в значительной степени выстраиваются благодаря словесным табу. «Табу» в данном случае обозначает политико-языковую деятельность включения/исключения, которая определяет не только то, что не может быть высказано публично, но и те слова и фразы, которые получают горячее одобрение. Пара-

докс заключается в том, что чем более строгой является попытка установить пределы, тем более трудной эта задача оказывается. Как признавали даже советские лингвисты, живой язык творится не властью, а народом, что предполагает наличие неприличных, грубых, неуместных, лаконичных, архаичных и образных выражений. Насколько «несказуемое» остается невысказанным, а правильные слова вызывают правильные эмоции (как в случае с «Октябрем»), настолько советский лингвистический эксперимент являлся удачным, однако он всегда представлял собой борьбу. В этой сложной ситуации рядовые носители языка должны были быть сверхосторожными относительно тех эффектов, которые порождали их слова в конкретных обстоятельствах. Под «эффектами» в данном случае имеются в виду не только иллокутивные акты или перформативы, но и то, что мы могли бы назвать оккультными или мифическими следствиями, которые приписывают языку его носители. Ведь сами власти от имени народа участвовали в порождении мистических смыслов коммунизма, связывая повседневные языковые коннотации с четкими и неизбежными идеолого-эмоциональными пропозициями [Yurchak 2003]. Человек не мог оказаться в стороне от этого процесса, который окрашивал как простонародные, «старомодные» или неосторожные слова, которые он исключал, так и официальные формулы.

Языковые табу

Как упоминалось ранее, табуированным оказывалось не столько значение (означаемое), сколько само слово (означающее). Это было продемонстрировано со всей определенностью недавними исследованиями, посвященными мату [Успенский 1996; Зорин 1996; Левин 1996; Ерофеев 2003]. «Мат» классифицируется Тимротом [Timroth 1986] как «табуированный язык». В официальной речи он являлся абсолютно запрещенным с 1930-х годов, а в вежливой речи — в течение всей советской эпохи. Тем не менее сексуальная сфера, к которой по видимости отсылает мат, естественно обсуждалась эвфемистически. Да и сам мат, выражения, вроде «ёб твою мать», как правило, совсем не следовало понимать буквально. Подобные выражения могли использоваться рабочими в качестве приветствий [Успенский 1996: 12–13]; к мату могли прибегать политические лидеры в общении с гражданами в качестве средства запугивания [Ерофеев 2003: 48]. Поскольку мат всегда употреблялся исключительно широко, очевидно, что тот шоковый эффект, который он мог порождать, целиком зависел от контекста.

Существует хорошо известная в России шутка: каждый советский человек владеет тремя языками: родным, русским и матом [Timroth 1987: 98]. Это означает, что советский человек пользуется этими языками стратегически. В дневнике Аржиловского 1930-х годов находим пример, занятым образом связанный с заклинаниями [Gagos, Korenevskaya, Lahusen 1995: 126]. Пожилой женщине, вдове шестидесяти семи лет, в прошлом ведшей благопристойную семейную жизнь, угрожало, что ее запишут в кулаки. Собравшись с силами, она появляется на деревенском сходе и обращается к президиуму, «используя самый отвратительный язык». Таким образом ей удалось благополучно доказать, что она принадлежит к подлинным советским трудящимся. В результате ее принимают в колхоз, где она становится стахановкой. Она была очень старательным человеком; пекла хлеб и лечила заклинаниями больных, среди которых были даже члены партии. Аржиловский был поражен этим контрастом: современное колхозное оборудование (трактора, комбайны, проносящиеся мимо автомобили), а прямо посреди всего этого — старуха, произносящая заклинания так, что каждый мог слышать «на море, на океане, на острове». «И очевидно, что это действовало», — восклицает автор дневника. Сила старушечьей речи продемонстрировала свою эффективность и на деревенском сходе.

В контекстах, где употребление мата может вызвать шок, сам звук табуированного слова порождает оторопь от того, что запрет оказался нарушенным. Шведский мемуарный роман о жизни в России в 1930-х годах рассказывает о посещении семьей шикарного ресторана. Маленькая Нина играла на полу, когда ее мать попросила ребенка подняться и сесть на стул. Она три раза громко и четко позвала девочку по-шведски «Stol, Nina!», пока Кристиан не сгреб ее, быстро оглянувшись по сторонам. «Stol, Nina!» опасно напоминало «Сталина». «Здесь очень важно сохранять спокойствие. Не говори никому», — сказал Кристиан, а его прежняя веселость несколько поубавилась [Heldgason 2001: 305–306]. Звук нарушил сакральное пространство имени, которое нельзя выкрикивать в ресторане. В то же время и «упорное скандирование» имени Сталина на партсъездах [Gutkin 1997: 243], и солдаты, произносящие имя вождя перед тем, как ринуться в атаку, — все это было обязательным.

Бывали такие исключительные эпохи, когда табу могло быть почти абсолютным. Например, с 1943 по 1957 гг. слово «калмык» вообще нельзя было произносить — ни при каких обстоятельствах. Несправедливо обвиненный в пособничестве нацистской армии, весь калмыцкий народ впал в немилость и был выслан в Сибирь. Калмыцкая республика была уничтожена, а само название «калмык» вымарано из энциклопедий и

исторических работ. Народ словно перестал существовать. Калмыцкая исследовательница Эльза-Баир Гучинова рассказывает, как на пике всего этого в 1948 г. ее знакомая зашла в московский магазин и попросила плиточного чая (зеленый чай из южных регионов России). В ответ продавщица громко, на весь магазин крикнула в другой отдел: «У тебя есть калмыцкий чай?». Подруга не смогла забыть шок и боль от того, что запретное имя можно употреблять, говоря о чае, но не о народе [Гучинова 2003: 110].

Скажи это вслух

Существует целый ряд возможных аналитических подходов к изучению произнесения запрещенных слов. По отношению к конкретным советским контекстам можно, например, использовать разнообразные импликации работы Остина об иллокутивных речевых актах (1962), альтюссеровское понятие интерпелляции (1971) или соображения Джудит Батлер о словесных оскорблениях, не говоря уже об интерпретативных возможностях психоанализа.

В данной работе я, однако, обращаюсь к идеям Бориса Успенского, изложенным в его статье о сквернословии [1996], поскольку она дает возможность исследовать устойчивость, с которой и в советское время словам приписывалась магическая сила. Лингвист Трубачев выступал за включение матерных слов в словари русского языка, поскольку эти слова существуют. Однако позднее он изменил свою точку зрения: табу свидетельствуют об особом отношении носителей русского языка к этим выражениям, и в советскую эпоху, когда грамотность и книги стали доступны массам, было особенно важно это табу поддержать [Успенский 1996: 10–11]. Сам Успенский настаивает на независимости табу на ругательства от контекста, поскольку они являются «сакральными выражениями», а говорящий всегда несет ответственность за их употребление. Матерные слова использовались как заклинания крестьянами, например, чтобы уберечься от черта или домового [Успенский 1996: 13]¹. В заключении он отмечает, что ругательство обладает сакральной функцией, связанной с язычеством [Успенский 1996: 13].

Мысль Успенского о независимости мата от контекста противоречит тому, что я говорила ранее, но если говорить о, так

¹ Культура заклинаний и колдовства не умерла в советскую эпоху. Как демонстрируют недавние биографические исследования, посвященные современным русским *народным целителям*, большинство этих людей, даже принадлежа к высокообразованному слою, знакомилась с «обладавшими силой словами» в детском возрасте от своих бабушек, несмотря на то, что посещали советскую школу [Харитоновна 1994].

сказать, *longue durée* русской культуры, эта идея заслуживает более внимательного рассмотрения. Обратимся к многочисленным фактам уголовного преследования людей, упоминавших неподобающим образом имя Сталина; в этом нам поможет исследование Клаудио Ингерфлома, посвященное наказаниям за оскорбление царской особы.

Приведу следующий пример из сталинской эпохи. Алла Андреева делила камеру в Лефортово с женщиной, принадлежавшей к группе молодых людей, как-то вечером болтавших друг с другом. *«Кто-то сказал, что „вроде все как-то не так, вроде Ленин не таким предполагал развитие страны“. А кто-то добавил: „Ну что делать? Грузины живут долго“. А еще сказал: „Ну, бывает, что и умирают“. Все они получили террористическую статью за этот разговор на вечеринке»* [Андреева 1998: 157]. Рассмотрим данную ситуацию в связи с тем, что Ингерфлом пишет о правовой формуле XVII–XVIII вв. «государево слово и дело», согласно которой непристойные слова считались оскорблением царя [Ingerflom 2003]. Самим словам приписывалась сила, независимая от намерений говорящего. Так, в 1723 г. был сурово наказан кнутом крестьянин, признавшийся в том, что произнес слова, звучавшие как заклинания (*«Разве императору нашему рука заболит, то обрекается нашу братию в солдаты не брать»*), когда услышал, что крестьян будут забирать в армию. На его заявления о том, что он не имел в виду причинить какой-либо вред царю, не обратили внимания. Данный эпизод напоминает нам о поразительном случае, относящемся к советской эпохе, когда вина человека заключалась в словах при полном отсутствии намерений. Школьная учительница была арестована потому, что один из ее учеников написал в сочинении *«„И жизнь хороша, и жить хорошо“, — сказал Маяковский и застрелился»*: учительницу обвинили в подготовке покушения на Сталина [Андреева 1998: 180]. Отрыв вредоносных следствий слов от намерений объясняет, почему авторы доносов говорят, что не могут повторить те слова, которые обвиняемый сказал о царе. Подобные факты подтверждают идею Успенского о персональной ответственности и независимости словесных табу от контекста. Тем не менее я считаю, что Успенский не принимает во внимание систему отношений (relationality), присутствующую во всех подобных сценариях. На самом простом уровне мы видим, что кто-то должен был донести царю на крестьянина, кто-то должен был сообщить о разговоре молодых людей и сочинении школьника.

Можно также отметить, что оскорбительные слова сами по себе являлись референциальными или индексальными по отношению к тому человеку, которому, как считалось, они могли повредить («грузин», «наш император»). Вильям Хенкс ука-

зал на решающее значение телесного образа в актах деиктической отсылки, поскольку тело предоставляет схематическую структуру, «сырой материал» для ряда оппозиций, которые используются говорящими для того, чтобы вписать «я» в коллективные категории [Hanks 2000: 19]. Ингерфлом особенно проницателен в своем анализе имплицитной фигуры тела, представленной в случаях оскорбления царя в XVII–XVIII вв. В 1627 г., например, произошла ссора двух людей, один из которых угрожал вырвать бороду другому; последний ответил, чтобы тот не смел этого делать, поскольку говорящий — «государев мужик», и его борода принадлежит «государю». В доносе на своего противника первый изменил последнюю фразу так, что мужичья борода оказалась уподобленной бороде царя — и был строго наказан за ложное обвинение. Он попытался заменить отношения принадлежности на отношения сравнения, и именно сравнение своего тела с телом монарха являлось наказуемым. Высказываться подобным образом — значит не просто пытаться привлечь недопустимое внимание к себе; это «дьявольский» акт, приписывающий физическое, человеческое измерение тому, кто принадлежит сфере сакрального.

Россия XVII–XVIII вв., конечно, весьма отличалась политически и культурно от Советского Союза; иным, отчетливо христианским было и представление о сакральности тела, подвергшегося трансгрессии. Тем не менее примеры, приведенные Ингерфломом, помогают объяснить относящиеся к сталинской эпохе случаи, вроде упоминавшегося ранее, поскольку магически оскорбительным оказывалось именно упоминание долгожительства и смерти грузин.

Если одним из аспектов реляционности (relationality), присущей использованию табуированных слов, является вред, якобы причинявшийся человеку, о котором шла речь, другой касается рефлексивной ситуации говорящего. В некоторых случаях табуированное слово, объективированное и отделенное от остальной речи тем ужасом, который оно вызывает, начинает означать абстракцию, само зло, как пишет Алла Андреева [Андреева 1998: 19–20]. Когда она была ребенком, соседские мальчишки заставили ее прочитать вслух нацарапанное ими на стоящем во дворе дереве слово, состоящее из трех букв, *«конечно, то самое»*. Мальчишки торжествовали, однако проходившая *«женщина из обслуги»*, а затем и мать велели Аллочке больше никогда не произносить это *«поганое»* слово. *«Я и сейчас помню свое тогдашнее ощущение какой-то космической катастрофы, как бы сказала теперь. <...> И вдруг оказывается, что существуют плохие слова, которые не надо говорить! Оказывается, есть что-то плохое. Плохое — само по*

себе живущее, непонятное». В данном примере мы видим, что опасность, исходящая от табуированных слов, заключается не просто в том, что они потенциально опасны «в обществе», но и в их способности пробуждать в человеке чувство абсолютно-го ужаса. Конечно, не все дети реагировали на это подобным образом; важно, что Андреева была воспитана в староинтеллигентской и религиозной семье. Наиболее значимым является тот факт, что подобная реакция вообще возможна. Несмотря на длинный лагерный срок, окруженная матом, Андреева не произнесла ни одного матерного слова за всю свою жизнь. Даже в 1990-х годах, когда ограничения, накладывавшиеся советским режимом, давно исчезли, Андреева не могла заставить себя написать это слово из трех букв.

Аллочкина «встреча со злом», произошедшая благодаря слову, кажется не имеющей ничего общего с советской жизнью. Однако представления о зле, даже включающие зло в религиозном смысле, были частью дискурса того времени. Действительно, определение добра и зла обладало первостепенной важностью в мифотворческой деятельности партии-государства и осуществлялось путем приписывания идеологической ценности именам (функционирующим как «описания»). Стихотворение Мандельштама «Это какая улица?» содержит насмешку над руководителем, для которого все обладает именем. Быть может, наиболее сильным примером такой «*божественной власти называния*» [Butler 1997: 32] являлось навешивание ярлыка «антисоветчика», который на самом деле невозможно было уничтожить правовым путем. Этот ярлык был достаточен, чтобы окрасить поведение «свидетелей», обвинителей и охраны. От него можно было избавиться тем же путем, каким его навешивали — указом. В самый разгар чисток арестованных можно было упоминать, лишь вставляя перед фамилией слово «предатель». Это порождало ситуации, окрашенные мрачным комизмом. Видный ростовский политический деятель Шеболдаев, в чью честь был назван городской парк, был смещен со всех постов и исчез. «*Ты куда идешь?*» — спросила мальчика Валентина Богдан. «*В парк имени предателя Шеболдаева*», — ответил он [Богдан: б.д. 125].

Наибольший страх вызывала ситуация, когда подобные ярлыки навешивались на человека или его близких. Чтобы понять, как это работало в системе повседневных отношений, обратимся к слову «барышня», которое для коммуниста попахивало буржуазными ценностями. Няньки советской эпохи, незнакомые с новым дискурсом, продолжали невинно называть своих малюток «барышнями». Однако в публичной жизни это слово являлось табуированным в ситуации встречи друзей, поскольку назвать кого-либо таким образом было равносиль-

но обвинению его в принадлежности к чуждому и следовательно антисоветскому классу. В романе «Дети Арбата»¹ честная коммунистка Нина внезапно испытывает ужас, когда коллега по работе случайно говорит об ее хорошенькой сестре как о «даровитой барышне». Нина принимает это за оскорбление; она знает, что власть выискивает не только одиночек, но и контрреволюционные группы. Поэтому слово «барышня» запросто может служить предвестием будущего обвинения, которое коснется и ее. Так почему же коллега смотрит на нее подругески? [Рыбаков 1987: 203–204]. Можно согласиться с Гусейновым относительно фетишистского характера подобных слов, но не с тем, что они являются «пустыми». Для религиозного сознания матерные слова — проклятия, то есть они могут «наложить сглаз на кого-нибудь». В космологии коммунизма относительно невинное слово вроде «барышни» могло обладать оккультным эффектом — эти слова могли субъективно переживаться как порождающие пагубные ситуации.

Амбивалентность, уклонение и замещение

В подобной атмосфере особого отношения к слову даже обычное ругательство могло быть выхвачено властью и стать причиной наказания за хулиганство [Левин 1996]. Языковые действия, таким образом, всегда обладают потенциалом политического сопротивления. Однако репрессивные механизмы, самоцензура и доносительство являлись настолько вездесущими в эпоху «высокого» коммунизма, что открытое сопротивление оказывалось весьма редким — а на практике означало по своей воле отправиться в ГУЛАГ. В то же время амбивалентное использование «правильных» фраз было весьма распространенным, когда на фоне явного смысла контекстуально возникал целый ряд потенциально подрывных коннотаций [Humphrey 1994]. Прямая политическая конфронтация посредством запрещенного языка стала возможной только после конца советской эпохи. Одним из первых следствий перестройки стал вызов, брошенный запретам на публичное использование мата. В 1991 г. на Красной площади прошла демонстрация, участники которой составили из своих тел слово из трех букв, что должно было «„десакрализовать“ это пространство, сделать его подлинно народным». Результатом акции стало столкновение с милицией и уголовное дело [Зорин 1996: 136]. Дан-

¹ Роман описывает начало 1930-х годов. Его публикация стала возможной лишь с приходом *гласности*, хотя написан он был в советское время. Я полагаю оправданным цитирование этого текста в статье, поскольку широко признано, что данный роман является попыткой описания 1930-х годов с максимальной, «этнографической» точностью.

ный пример показывает, что на самом деле мат продолжал означать неповиновение даже в постсоветскую эпоху¹, все еще ассоциируясь с «простым рабочим человеком». Вспомним, что советское различие речевых жанров и связывание их с социальными классами в длительной истории иерархизации стилей русского языка было особенно жестким. В XVIII в. Ломоносов разграничил русский язык на три стиля, под которыми таился четвертый субстрат, состоящий из непристойной и грубой речи. Думается, что скромный советский трудящийся, потомок обитателей этой четвертой языковой зоны, верил в то, что употребление непристойного языка, являвшегося его собственным языком, не имело политических последствий. Анатолия Марченко, со страхом слушавшего своего товарища по лагерю, пустившегося в праздные рассуждения о том, что министр культуры Фурцева готова переспать с кем угодно, заверили, что *«сейчас за болтовню сажают только с высшим образованием»* [Марченко 1993: 422]. *«Доказывать и рассказывать, что посадить могут любого, независимо от образования? Что я сидел с такими, у кого образования пять-шесть классов и кто угодил в политлагерь по 70-й статье за анекдоты?»* [Марченко 1993: 422]. Из этого можно сделать вывод о том, что хотя обычно советская власть негласно допускала лингвистические безобразия в четвертой языковой зоне, значимым являлось абсолютное качество этих «сильных» слов. Существовала масса позаимствованных из правового языка слов (особого рода фетишей) — «агитация», «пропаганда», «фабрикация», «клевета», «паразитизм» и «хулиганство», — под которыми прожектор мог внезапно высветить небрежно брошенное слово, означавшее «сопротивление».

Наиболее распространенной формой уклонения являлось произнесение опасных звуков и замещение их другими. В русском, как и во всех других языках, весьма распространены эвфемизмы, а единственной специфической чертой уклончивой речи в советскую эпоху являлся особый набор тех означаемых, которых избегали. Данная тема слишком обширна, чтобы ее можно было исчерпать в настоящей статье. Мне хотелось бы только отметить, что особенно многочисленными были, например, слова, позволявшие избегать представлений, вызывавших у людей тревогу в силу того, что они связывали обычного гражданина с карательной деятельностью государства. Примеры маскировки такого рода включают акронимы, например «чесир» (произведенное от первых букв ЧСР, «член

¹ Виктор Ерофеев рассказывает, что недавно предметом Думского расследования стало поведение Владимира Жириновского, который использовал мат в частном разговоре об американской политике в Ираке — разговоре, записанном на видеопленку [Ерофеев 2003: 48].

семьи изменника родины»¹), или сленг, например слово «химики», обозначающее осужденных, посланных на работу на опасные химические предприятия. Иногда избегали даже замищений. В романе «Дети Арбата» соблюдающая приличия Вика просит свою честную подругу Варю не говорить про знакомого Юру, работающего в органах госбезопасности, что он «легалый». *«Вика не хотела повторять слово „легалый“, не она его произнесла. — Твои эпитеты отдают улицей. Варя вспыхнула. — А я на улице выросла. — Ты меня не поняла. Я не о вульгарности, у меня такой мысли не было. Но от некоторых вещей и от некоторых слов лучше подальше. Юра занимается своим делом, а мы с тобой в этом не разбираемся. Варя молчала»* [Рыбаков 1987: 210–211].

Следует отметить, что некоторые способы осторожного пользования языком в советские времена были более связаны с русской культурой, чем с социалистической политической структурой. В сельских регионах уклонение от употребления «я», например, могло быть в большей степени связано со старыми традициями уважения и соотносилось скорее со страхами космологического порядка, стоящими за социальной иерархией, чем с соблюдением принципов коллективизма. Даже сейчас в провинциальной России, а в советские годы в еще большей степени, молодая женщина навлекла бы на себя бесчестье, осмелившись выпячивать свое «я». В детских садах детям объясняли, что «я — это последняя буква алфавита»². В присутствии старших молодая особа никогда не сказала бы «я думаю»; это сочли бы неуважительным. Вместо этого использовалась возвратная конструкция — «Мне думается». Между тем старший безнаказанно мог бы произнести местоимение первого лица единственного числа. Противопоставляя таким образом два языковых кода, человек стремился утвердить неизменность того мироустройства, которое стояло за социальной иерархией.

Последний пример напоминает нам, что слова могут пониматься антропологически как социальная собственность, в том смысле, что некоторые категории людей оказываются исключенными из пользования «хорошими» словами, тогда как «плохие» слова считаются «принадлежностью» другого. Пример первого типа — запрет для заключенных концлагерей

¹ В сталинскую эпоху ЧСР означало «член семьи изменника родины», во времена Хрущева — «член семьи репрессированного» [Corten 1992: 35].

² Сергей Ушакин вспоминает, как в детстве, в 1970-х годах, когда он и его сестра пытались защитить свое право говорить «я», его бабушка отвечала на это: «Корова шла, хвостом махнула и сказала „мы“», тем самым осуждая употребление я/мы как нечто грубое и некультурное.

в 1940–1950-х гг. употреблять слово «товарищ». Охранники постоянно объясняли заключенным, что они «не люди». Заключенные не имели права обращаться к охранникам, используя слово «товарищ», напоминавшее о равенстве и дружбе. Вместо этого, они должны были заменять его словосочетанием «гражданин начальник», сочетавшем признание государственной мощи и осознание своего подчиненного положения [Андреева 1998: 163, 177]. «Товарищ» принадлежит к тому типу слов, которые, следуя Генису, мы может отнести к советской метафизике. Подобное слово являлось метонимией, связывавшей реальные (далекие от совершенства) отношения между людьми, имевшими право употреблять его, с обладающими идеальным характером социальными отношениями — с идеалом, принадлежавшим к сверкающему, запредельному миру коммунизма. Сходную мифическую роль играл красный цвет, эмблема революции. Заключенным как «врагам народа» было запрещено пользоваться красной краской или материей для изготовления транспарантов или знамен в лагерях; вместо этого они употребляли краску коричневатого оттенка [Андреева 1998: 164]. Утратив право на использование столь важных знаков, многие заключенные — но не Андреева — чувствовали себя глубоко обделенными.

Что касается «плохих» слов, существует множество свидетельств уклонения иного типа, благодаря которому «право собственности» на обсценные слова передавалось другим людям. Реакции на языковую свободу 1990-х годов, когда мат и сленг начали пронизывать публичную жизнь, являются красноречивыми. Письма, посланные в газету «Час Пик» говорят о *«распродаже „русского духа и совести“*, *«антирусской диверсии»*, *«русско-татарско-еврейском жаргоне»* [Зорин 1996: 135]. Подобная реакция, как отмечает Зорин, совпадает со старинной легендой, согласно которой русские матерные слова пришли от татар, и тем самым перекладывает ответственность за сквернословие на плечи других.

Судебное отношение к языку, его иерархизация и стремление не фиксировать на письме подлинные грубые слова простого народа навязывалось советским государством и воспроизводилось всеми теми, кто пользовался литературным языком. Что касается письма, все дискурсивное пространство советского «словесно оформленного сознания» было пронизано языковой разборчивостью. Так, Солженицын, считая самого себя образованным «писателем» с социальным статусом, писал «Архипелаг ГУЛАГ», используя эвфемизмы, а не передавая подлинную речь лагерников (см., например, [Зорин 1996]). Это показывает, что репрессивные структуры, присущие официальному/публичному языку, нередко обнаруживаются и в язы-

ке оппозиции. Даже Варлам Шаламов, рассказывая о своей лагерной жизни, писал, что «блатные» слова — это *«трава, яд, влезающий в душу человека»* [Шаламов 1982: 221–222].

Молчание

Молчание кажется единственным подлинно безопасным языковым выбором. Однако со времени появления работ Волошинова/Бахтина мы знаем, что молчание может обладать значением. Идеологический продукт — а слово является идеологическим знаком *par excellence* — может возникнуть только на интерсубъективной территории. Слово является семиотическим материалом внутренней жизни, сознания, внутренней речи; оно может функционировать и не обладая внешней выраженностью [Волошинов 1995: 221–228]. В ситуации взаимодействия молчание остается знаком, отсылающим к тому, что могло быть высказано или чего можно было бы ожидать.

Людмила, начавшая жизнь как очень бедная крестьянка, получила в наследство тайну. Рассказывая о своей жизни двум историкам, она вспоминает, как ее отец строго наказал своей семье не рассказывать никому, что случилось с его собственным отцом. *«Одно слово и меня сразу же арестуют»* [Bertaux, Garros 1998: 51]. Дед, вероятно, был осужден как кулак. Однако это не вполне ясно из собственных слов Людмилы, поскольку даже в 1990-х годах она говорит о загадочных «до» (данного события) и «после». Как отмечают публикаторы Берто и Гаррос, Людмила подвержена *«двойному запрету памяти, парадоксальным образом накладываемому любящим отцом и свирепой властью»* [Bertaux, Garros 1998: 14]. Молчание Людмилы простирается и на другое. Вспоминая, как ее мать спасла маленькую икону, когда коммунисты явились сносить деревенскую церковь, она сказала, *«мама, которая в это время еще была...»*, однако ее слушатели так и остались в недоумении, каким могло бы быть отсутствующее слово. Еще была верующей? Еще была христианкой? Или, что опаснее, еще смела выступить против советского иконоборчества? [Bertaux, Garros 1998: 15–16].

В публичной жизни, однако, многозначительность молчания превращала его в тактику, которая могла стать объектом официального внимания. В ситуации коллективизма человек должен был быть активным участником социальной жизни, высказываться. Как точно описывает эту ситуацию Олег Хархордин, советский человек выстраивал свое социальное «я» через речевые акты публичного самоанализа, самокритики, оценки, дисциплины, разоблачения и исповеди [Хархордин 2002: 141–291]. Практика стенографирования и «подачи» отчетов о со-

браниях фетишизировала высказывания и умолчания, а также привязывала их к говорящим, поскольку подобные бюрократические процедуры атрибутировали речь/отсутствие речи индивидууму, названному по имени. Обязательный характер высказывания таил опасность. Хархордин приводит пример служившей на московской табачной фабрике рабочей Фадеевой, заявившей на собрании, что предложенная рационализация производства поставит работниц *«в очень невыгодное положение»*. В ответ директор назвал Фадееву *«врагом рабочего класса и контрреволюционеркой»*, и потребовал, чтобы ее слова были занесены в протокол собрания. В результате *«Фадееву стала преследовать мысль, что ее слова „зафиксированы“, она слегла с нервным расстройством и через некоторое время умерла»* [Хархордин 2002: 181]. Однако уклониться от высказывания или публично не одобрить подготовленную речь голосованием в поддержку в равной степени могло быть опасным. Существуют многочисленные рассказы из эпохи чисток о надзоре над подобными речами и поднятыми руками (*«И все голосовали. Мы прекрасно знали, что тот, кто не поднимет руку, сам сегодня же отправится на ту же Лубянку. И все поднимали руку, голосовали за смертную казнь»* [Андреева 1998: 67]). То, о чем рассказывает Алла Андреева (и это весьма значимо!), является другим типом «молчания», которое наступало после этих жутких собраний: люди просто забывали о том, что это было. Андреева описывает свое удивление по поводу отсутствия такого рода воспоминаний у одной своей подруги, *«человека идеальной честности»*, и поясняет: *«Потом я поняла, в чем дело. Когда человек делает что-то скверное, противоречащее его складу, душе, это так страшно, что память как бы сама выбрасывает такое воспоминание, просто отключается. Тогда в разговоре с подругой я поняла, что люди, выходя с собрания, выбрасывали происшедшее из памяти»* [Андреева 1998: 67–68].

В эпоху сталинизма акт «молчания» мог стать предметом для дальнейших размышлений. Эта ситуация засвидетельствована Мери Ледер, уже упоминавшимся редактором ТАСС. Ее вызвали и предложили стать осведомителем. Намеренно помалкивая относительно тех обвинений против коллег, которые следователь пытался у нее вырвать, она болтала о не имеющих отношения к делу вещах. Ледер вспоминает, что «неговорение» было предметом дальнейших частных разговоров. После процессов люди с тревогой пытались понять, исходя из сроков заключения, нашли ли там обвинительный материал, т.е. умалчивали ли о чем-нибудь информаторы или пускались в обвинительные речи [Leder 2001: 289–290]. Молчание могло работать на многих фронтах. Кто-то мог выпалить при приятеле что-нибудь антисоветское, а потом вечно его избегать, умиряя

страх возможного доноса посредством магического акта вычеркивания отношений из памяти [Leder 2001: 239]. Даже в более позднюю эпоху молчание не обязательно приносило покой. В позднесоветские времена человек мог стыдиться того, что просто «повторял лозунги», а также того, что молчал («ничего не делая»), поскольку не знал, как нужно было поступить [Riordan, Bridger eds. 1992: 20].

Это означает, что «молчание» редко выступает в виде тотального отсутствия. Оно проявляется негативным образом, как затяжное чувство стыда или стирание из памяти, а также в языковых продуктах, предназначенных для личного потребления (дневники, внутренние монологи, незаписанные стихи или сны). Кроме того, «молчание» обладает своей «другой жизнью» в обществе, среди людей. Именно так обстояло дело с текстами, которые писались для публикации, но не могли быть напечатаны и, переходя из рук в руки, переписывались, ксерокопировались или цитировались. Алла Андреева вспоминает, как в 1960-х годах рукописи «Розы Мира», книги ее мужа Даниила Андреева, «жили своей жизнью». Книга начала распространяться в искаженном, иногда сокращенном, иногда отредактированном, а иногда и в дописанном виде. Люди узнавали телефон Андреевой, жившей в коммунальной квартире, и звонили ей по поводу книги. *«Я отвечала, что ничего об этой книге не знаю и не понимаю, о чем речь. Я не могла отвечать иначе. Я же не знала, кто звонит и откуда. Знала, что по Москве идут обыски и при ряде обысков „Розу Мира“ конфисковали со всем, что было взято, на Лубянку. Одно мое неосторожное слово, и я бы вызвала шмон у себя, что означало бы гибель всего. Поэтому я и хранила полное молчание»* [Андреева 1998: 269].

Молчание — наиболее тяжелый груз, доставшийся настоящему от прежней эпохи сильного страха. Навыки молчания продолжают существовать, как кажется, и после того, как условия вроде бы изменились. Подобная привычка является объектом передачи; ей учатся в семье. Один человек поведал, как он ничего не рассказывал о времени, проведенном в лагере, сыну, дочери и внукам; более того, он попросил, чтобы его письмо в газету осталось анонимным. *«Я всегда хотел рассказать им мою историю, но какой-то глубокосидящий страх останавливал меня»* [Riordan, Bridger 1992: 32]. Быть может, его семья действительно ничего не знала о его жизни в лагере, однако они должны были знать о самом факте молчания. В провинции, в маленьких городах, где каждый знает, кто был стукачом, привычке к сдержанности учились одновременно с речью. Как сказал мне один бурят, «это в нашей крови» (и совсем не потому, что он бурят, а потому что так жил его народ). Воспроизведение этой сверхосторожности в семьях является, видимо,

одной из причин того, что не следует преувеличивать ментальные различия между разными поколениями советских людей; нам следует научиться мыслить в терминах межпоколенческих континуальностей, наложений и повторений. Можно провести исследование языковых практик, свойственных конкретным периодам, поколениям или социальным группам, которое учитывало бы гораздо большее количество нюансов, чем то, что удалось мне. Однако помимо этого необходимо обратить внимание не только на четко выраженные предписания, исходящие от прежних поколений, как в случае Людмилина отца, но и на то, что навык просачивается сквозь время, в котором прежние способы говорения (или уклонения от речи), оказавшись в новых обстоятельствах, меняются весьма незначительным образом.

Заключение

Я попыталась описать некоторые опасности, которые таило употребление языка в советских условиях. Сам по себе факт страха не является достаточным в качестве объяснения всех тех явлений, о которых шла речь. Прежде всего, вторжение партийно-государства в сам языковой материал (инициированное языковой реформой 1918 г.) усилило напряжение относительно «правильного понимания», напряжение, присущее порождению высказывания в ситуации, когда язык является инструментом **тотальной** пропаганды идеологии и социального уклада. Кроме того, телеологическая «метафизика» коммунистического государства-партии творчески стимулировала приписывание символического или метафорического значения единицам официального языка. Как и в случае любого социополитического действия, существительные и глаголы коммунистического словаря наделялись своей собственной «исторической» интенциональностью, превращавшей их в элементы трансцендентального сюжета.

Старые народные представления о том, каким образом сам язык может стать источником вреда, представления, связанные, например, с неуничтожимой практикой проклятий и заклинаний, сохраняли свою силу в советские времена. В любом обществе верования относительно темпоральных причинных связей могут быть значимыми для использования языка, когда речь идет об актах высказывания. Однако в советской — и прежде всего в сталинистской — атмосфере страха перед политическими кознями и напряженности в отношении языка ощущение шока, порождаемое актом произнесения конкретного слова, могло трансформировать это слово в событие-предзнаменование. Оно могло, почти как заклинание, казаться вестником потенциально опасного положения

вещей. Для того чтобы этого избежать, давняя и самовоспроизводящаяся культурная привычка к языковой осмотрительности определяла поведение человека на советской публичной сцене. Эти тенденции приобрели исключительную четкость и распространенность в эпоху «высокого» сталинизма, но не исчезли целиком и впоследствии. Одной из причин этого является репродуктивный характер самих социальных отношений. Как пишет Джудит Батлер, *«языковое поведение людей по отношению друг к другу, их языковая уязвимость по отношению друг к другу не есть простая добавка к социальным отношениям. Это одна из основных форм, которую эти отношения принимают»* [Butler 1997: 30]. В данной ситуации слова видятся вредоносными, поскольку они причиняли вред другим людям в прошлом. Мысль о контексте указывает не на внутреннее содержание или структуру речи, а на факт того, что эти слова обладают некоей историей. Как я показала, разбирая случаи оскорблений царя/Сталина, намерения говорящего можно проигнорировать, поскольку в действительности важнейшим является не только конкретный случай, но и вся цепь событий (или, в терминах Батлер, социальных отношений), к которым привязаны вредоносные слова¹.

Дискурсивный режим конструирует сам себя посредством творческого пользования своим собственным языком — а также посредством границ, которые он ставит себе, «затемнения» определенных типов речи и выстраивания тех языковых «табу», которые он провоцирует и навязывает. Было бы праздным занятием делать вид, будто страх ареста, тюремного заключения, ссылки и смерти не являлся решающим, когда речь идет об опасностях, присущих пользованию языком в сталинскую эру. Молчание было всепроницающим. Однако, как я указывала, это молчание не было лишено значения и являлось завесой, которая должна была скрывать двойственное, норовистое, непокорное сознание, таящееся в не высказанных вслух мыслях и сновидениях. Конечно, молчание не было абсолютным, поскольку уклонение, замещение, аллюзия и эвфемизм активно использовались в качестве речевых фигур публичной речи. Таким образом, система «табу» не только ставила границы, но и расширяла власть вытесненного. Это **творческое молчание** можно противопоставить феномену афазии, «неспособности говорить», функционирование которой Сергей Ушакин [Oushakine 2000] описал для постсоветской провинциальной России. Афазия в интерпретации Ушакина представляет собой коллективное дискурсивное расстройство, манифестируемое регрессом к символическим формам пре-

¹ Я благодарна Сергею Ушакину, прояснившему для меня этот момент.

жней эпохи, а в особенности разрушением способности общества находить подходящие языковые означающие для означаемых, пришедших вместе с новым социополитическим порядком [Oushakine 2000: 994]. Ушакин связывает афатическое молчание с постсоветским переходным состоянием и «промежуточностью», отсутствием ориентиров, которым нужно следовать, результатом чего становится когнитивный вакуум, отражающий общественное состояние неопределенности [Oushakine 2000: 995–1004]. Противоположной была ситуация в советской, особенно в сталинской России. В эту эпоху означающие прикреплялись к означаемым директивно, а в качестве ориентиров выступали приказы. Именно в силу того, что люди слишком хорошо понимали значения этих указателей, молчание обладало такими четкими импликациями в межиндивидуальном пространстве. Для того чтобы маскировать свои мысли, человек иногда должен был прибегать к «иносказаниям иносказаний», т.е. использовать выразительные средства, которые были бы безопасными в ситуации, когда даже не прямые высказывания (иносказания) были чреваты опасностью. И именно потому, что сам коммунистический язык был пропитан коллективными эмоциями, его собственные ключевые слова — вроде «товарищ» или «Октябрь» — могли становиться локусами тревоги и включаться в разнообразные формы «табу».

Языковая уязвимость, как я уже отмечала, стала в советском обществе всепроникающей. Ни одна социальная сфера не была пространством абсолютной безопасности, будь то пронизанный штампами бюрократический универсум или мир пролетариев-матерщинников. Быть может, я слишком стремилась подчеркнуть континуальности, но это лишь реакция на исследования, которые чересчур, с моей точки зрения, педалировали различия и отсутствие преемственности по линиям публичного/приватного, официального/неофициального, конформистского/диссидентского и т.д. Как демонстрирует пример колхозницы, описанный Аржиловским, человек мог воспользоваться своей способностью оперировать опасными словами во всех секторах социополитического пространства. Не талант ли к заклинаниям дал возможность старой крестьянке победить президиум при помощи «отвратительных слов»?

Пер. с англ. яз. Аркадия Блумбаума

Библиография

Андреева А.А. Плаванье к Небесному Кремлю. М., 1998.

Богдан В.А. Мимикрия в СССР: Воспоминания инженера, 1935–1942 годы: Ростов-на-Дону. Frankfurt, б.г.

- Волошинов В.* Философия и социология гуманитарных наук. СПб., 1995.
- Гучинова Э.* Постсоветская Элита: власть, бизнес и красота: Очерки социально-культурной антропологии калмыков. СПб., 2003.
- Гусейнов Г.Ч.* Ложь как состояние сознания // Вопросы философии. 1989. № 11. С. 64–76.
- Земцов И.* Советский политический язык. Л., 1985.
- Зорин А.* Легализация обсценной лексики и ее культурные последствия // Анти-мир русской культуры / Под ред. Н. Богомолова. М., 1996. С. 121–139.
- Левин Ю.* Об обсценных выражениях русского языка // Анти-мир русской культуры / Под ред. Н. Богомолова. М., 1996. С. 108–120.
- Марченко А.* Живи как все. М., 1993.
- Орлова Р.* Воспоминания о непрошедшем времени. Ann Arbor, 1983.
- Рыбаков А.* Дети Арбата. М., 1987.
- Успенский Б.* Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии // Анти-мир русской культуры / Под ред. Н. Богомолова. М., 1996. С. 9–107.
- Халфин И.* Синтаксис большевистского субъекта // *Ab Imperio*. 2002. № 3. С. 403–408.
- Харитонова В.* Портреты народных целителей России. М., 1994.
- Хархордин О.* Обличать и лицемерить. Генеалогия российской личности. СПб., М., 2002.
- Шаламов В.* Колымские рассказы. Париж, 1982.
- Bauman Z.* Soil, Blood and Identity // *The Sociological Review*. 1992. Vol. 40. No. 4. P. 675–701.
- Bertaux D., Garros V.* Liudmilla: Une Russe dans le Siècle. Saint-Etienne, 1998.
- Brooks J.* Thank you, Comrade Stalin! Soviet Public Culture from Revolution to Cold War. Princeton, 2000.
- Butler J.* Excitable Speech: a Politics of the Performative. L., 1997.
- Corten I.H.* Vocabulary of Soviet Society and Culture: a Selected Guide to Russian Words, Idioms, and expressions of the Post-Stalin Era 1953–1991. Durham; L., 1992.
- Derrida J.* Monolingualism of the Other / Translated by Patrick Mensah. Stanford, 1998.
- Erofeyev V.* Dirty Words: the Unique Power of Russian Underground Language // *The New Yorker*. 2003, Sept 15th. P. 42–48.
- Garros V., Korenevskaya N.* and Lahusen Th. Intimacy and Terror: Soviet Diaries of the 1930s. N.Y., 1995.
- Genis A.* Borders and Metamorphoses: Viktor Pelevin in the Context of Post-Soviet Literature // Epstein M., Genis A., and Vladiv-Glover S. (eds.) *Russian Postmodernism: New Perspectives on Russian Culture*. N.Y.; Oxford, 1999a. P. 212–224.

- Genis A.* Onions and Cabbages: Paradigms of Contemporary Culture // Epstein M., Genis A., and Vladiv-Glover S. (eds.) *Russian Postmodernism: New Perspectives on Russian Culture*. N.Y.; Oxford, 1999b. P. 394–422.
- Gutman I.* The Magic of Words: Symbolism, Futurism, Socialist Realism // Rosenthal B. G. (ed.) *The Occult in Russian and Soviet Culture*. Ithaca; L., 1997. P. 225–246.
- Halfin I., Hellbeck J.* Interviews with Igal Halfin and Jochen Hellbeck / Translated by M. Mogilner // *Ab Imperio*. 2002. No. 3. P. 217–417.
- Hanks W.* *Intertexts: Writings on Language, Utterance, and Context*. L., 2000.
- Helgason H.* *Höfundur Islands* // Translated by David McDuff. Reykyavik, 2002.
- Humphrey C.* Women, Taboo and the Suppression of Attention // Ardener S. (ed.). *Defining Females: the Nature of Women in Society*. Oxford; Providence, 1993. P. 73–92.
- Humphrey C.* Remembering an ‘Enemy’: the Bogd Khan in Twentieth-Century Mongolia // Watson R. (ed.). *Memory, History and Opposition*. Santa Fe, 1994. P. 21–44.
- Ingerflom C.* *Entre le Mythos et le Logos: L’action. Naissance de la Représentation Politique du Pouvoir en Russie*. 2003. (unpublished).
- Leder M.M.* *My Life in Stalinist Russia: An American Woman Looks Back* / Edited by Laurie Bernstein. Bloomington, 2001.
- Oushakine S.* In the State of Post-Soviet Aphasia: Symbolic Development in Contemporary Russia // *Europe-Asia Studies*. 2000. Vol. 52. No. 6. P. 991–1016.
- Riordan Bridger Riordan J. and Bridger S. (eds.) *Dear Comrade Editor: Readers’ Letters to the Soviet Press under Perestroika*. Bloomington, 1992.
- Timroth W. von.* *Russian and Soviet Sociolinguistics and Taboo Varieties of the Russian Language (Argot, Jargon, Slang, and ‘Mat’)* / Translated by Nortrud Gupta // *Slavistische Beiträge*. München, 1986. Band 205.
- Yurchak A.* Soviet Hegemony of Form: Everything was Forever Until It No More // *Comparative Studies in Society and History*. 2003. Vol. 45. No. 3. P. 480–510.